

Евгений Деменок

Экспрессионист

– Он был чудаком. Гениальным чудаком. Одним из тех чудаков, чья судьба интересует многих, но никто не желал бы ее повторить.

Родители назвали его библейским именем Давид. Хотя, даже не зная его имени, любому было сразу же понятно, что он принадлежит к библейскому народу, который, будучи изгнанным из дому, расселился чуть ли не по всей земле. Нашему городу повезло – в лучшие годы евреев тут была добрая треть.

Соломон Львович снял с носа очки, протер их и без того кристально чистые стекла и снова водрузил их на нос.

– Дедушка, ты уже тридцать лет живешь в Вене, но до сих пор называешь Одессу «нашим городом».

– А как иначе? Ты прочитал, кстати, слова Жаботинского об Одессе, которые я прислал тебе год назад, как раз в конце декабря?

Соломон Львович с улыбкой посмотрел на смутившегося Леона.

– Можешь не отвечать. Надеюсь, хотя бы к моему возрасту прочтешь. И не забудь – на языке оригинала!

Он завел эту традицию десять лет назад – собирать у себя в конце года всю семью, детей и внуков. Тогда ему было шестьдесят. За это время количество внуков прибавилось, более того – появился первый правнук. И вот сегодня – *фулл-хаус*. Они с женой, трое детей, пятеро внуков и правнук.

– Папа, скажи, как ты мог выбрать для жизни Вену? Ты, который с утра до вечера рассказывает об одесском море и солнце?

Приехавший из Неаполя старший сын Илья не слишком сильно рисковал – именно он привез родителям правнука.

– Вы же все знаете сами – в восьмидесятые Вена была одной из главных остановок на пути из Союза. Подавляющее большинство евреев тогда уехало дальше, а я застрял. Застрял в паутине искусства.

– Да уж, застрял основательно.

Мила, средняя дочь, кивнула головой в сторону тянущейся в обе стороны от отцовского кабинета анфилады комнат, все стены которых были от пола до потолка увешаны живописью. В дальних комнатах картинами были битком забиты стеллажи. Соломон Львович с женой Розой и жили тут, на втором этаже, прямо над своей галереей, в нескольких комнатах, которые Роза смогла с боями освободить от картин.

Соломон Тульчинский стал за эти тридцать лет одним из крупнейших венских торговцев искусством. Немецких, австрийских, чешских, венгерских художников он знал так хорошо, словно родился и вырос тут, в австрийской столице, причем вырос в семье потомственных торговцев живописью и антиквариатом. Слушая его немецкий, сложно было догадаться, что школьные годы он провел на Молдаванке, возле станции Одесса-Товарная. Выдавало его лишь то, что стены его кабинета были увешаны работами исключительно одесских художников.

– Папа, не слушай их, продолжай.

Леня, младший сын, прилетевший к отцу из Нью-Йорка, давно уже просил его рассказать о художнике, чьи экспрессивные и порой слишком эротичные работы с крупными подписями, сделанными рукой ребенка, занимали у отца целую стену. У него был свой мотив – своего сына он тоже назвал Давидом.

И вот наконец папа созрел.

– Вы же знаете, что мы с братом всю свою жизнь занимаемся поисками талантов, недооцененных мастеров и незамеченных работ, у которых есть потенциал. Открыть талантливого художника – огромное счастье, такое случается лишь раз или два в жизни. Для этого должно совпасть слишком много факторов. Давида Тихолуза открыл, увы, не я. Его открыл мой давний одесский друг Славик, галерист и коллекционер. Но я приложил руку к тому,

чтобы Тихолуз стал известным. Хотя продлилась эта известность совсем недолго.

Родителей его никто не видел. Судя по всему, они умерли довольно рано, когда он был еще юношей. Воспитывали Давида дядя с тетей. Дядю звали Зелик Блуверг, и он был художником. Именно от дяди к Давиду пришла та искра, то желание рисовать, которое стало в его жизни главным. Давид восхищался дядиным творчеством, хотя на самом деле Блуверг был весьма скромным графиком, не добившимся никаких значимых результатов, – у него даже не получилось стать членом Союза художников. И все же дядя спас племянника дважды: в первый раз, дав ему профессию, а во второй – позволив хоть как-то выжить в девяностых. Именно за дядиными работами приходили поначалу в ужасную квартиру Давида перекупщики. Сотни отсыревших листов лежали в ней повсюду. Собственные работы Давида тогда никого не интересовали.

– Ой, папа, расскажи об ужасной квартире! – воскликнула *Мила*.

– Дойдет и до нее очередь, потерпи немного. Хотя о том, как выглядели родители, можно было составить себе представление. По крайней мере я видел однажды в руках Давида портрет его отца – крупная голова в профиль, белая рубашка, галстук. Типичный одесский инженер. Давид говорил, что жили они недалеко от художественного музея. Возможно, отец немного стеснялся выходить с сыном на люди, но в конце концов его поведение не выходило за пределы нормы, а для родителей их ребенок всегда самый лучший.

С помощью таланта и дядиных связей Давид смог поступить в Одесское художественное училище, которое так и не окончил. О годах его учебы сейчас ходят легенды – вроде бы он учился там семь лет, из них четыре – на первом курсе, откуда его постоянно отчисляли и куда вновь принимали. То, что он не от мира сего, бросалось в глаза сразу, и хотя в среде художников это выглядело естественнее, чем в среде, например, инженеров или экономистов, но все же и там это было немного слишком. Рассказывают, что от кабинета к кабинету Давид ходил медленно, чуть ли не прижимаясь к стене, чтобы никому не мешать, и избегал любых разговоров. Полнейший социопат. Но на самих занятиях

часто менялся – прилив вдохновения меняет поведение. В конце концов его выгнали окончательно и бесповоротно – после того, как он написал постановочный портрет всего тремя красками, синей, зеленой и красной.

Внезапно прозвенел звонок. Все вздрогнули.

– Это Сема. Явился – не запылится, – улыбнулся Соломон.

– Я открою, папа. Сиди, – поспешил сказать Илья.

Пока он спускался из *хранилища* в галерею на лифте, вся семья сгрудилась у окна, из которого виднелся Штефансдом. Стоявшие у входа Семен с женой, словно почувствовав, подняли головы вверх и помахали им.

Через минуту они уже были в кабинете Соломона. Семен был младше брата на семь лет, и в кругу венских арт-дилеров, *Kunsthändler*, об их с женой Кирой стильных нарядах ходили легенды. Вот и сейчас Семен пришел в каком-то невообразимом цилиндре и с новой тростью в руках. Он словно пытался стать персонажем одного из многочисленных портретов венских буржуа начала девятнадцатого века, которыми была завалена его Галерея старых мастеров.

Увлечение брата одесскими художниками он не разделял.

– Ты так и не снял со стен своего Тихолуза? – быстро оглядев кабинет брата, насмешливо спросил Семен. – Или по-прежнему надеешься продать его кому-то как Сутина?

– Для этого придется очень постараться. Давид подписывал свои работы со всех сторон. Разве что ты мне поможешь, – с усмешкой парировал Соломон.

– Сема и Шлема, – вдруг отчетливо произнесла Милена. Четырехлетняя дочка Милы была голубоглазой блондинкой, жила с родителями в Вене и была всеобщей любимицей.

Мила покраснела, но все расхохотались. Любивших взаимные перепалки братьев так называли частенько, и они об этом прекрасно знали.

– Дядя Семен, папа как раз рассказывает о Тихолузе, – сказал Леня.

– Ну что ж, любопытно будет послушать. Со мной он делиться не любит.

Жена озорно взглянула на Семена.

– Молчу, молчу.

– Вот именно. Слушай молча, – сказал Соломон. – Так на чем я остановился?

– На том, что Тихолуза выгнали из училища, – сказала Мила.

– Да-да, точно. Где, как, на что он жил в восьмидесятые и девяностые – совершенная тайна. Говорят, он подолгу лежал в психбольнице. Говорят еще, что одно время дружил с Кирой Муратовой и ее мужем Евгением Голубенко и регулярно у них столовался, пока Голубенко не выгнал его из дома – якобы Давид начал неровно дышать к Кире Георгиевне. Я не удивлюсь, если он делал какие-то бестактные предложения – сексуальность в нем всегда была через край, но сочеталась она с дичайшей социопатией. Жил Давид одиноко, в совершенной нищете и в таких ужасных условиях, которые даже на Молдаванке редко найдешь.

– Папа, ты обещал рассказать о его квартире, – напомнила Мила.

– Ладно. Я приехал нему в 2008 году, почти сразу после того, как его «открыли». Жил он на Заньковецкой, совсем недалеко от нашего бывшего дома, в крепком дворовом флигеле на первом этаже. За дверью, оббитой ужасно засаленным рваным дерматином, мне открылось царство даже не чудака, а сумасшедшего. Между редкими оставшимися на полу досками проглядывала земля. На веревках в узком коридоре висели гроздь дурно пахнущей старой одежды. Крошечная кухня, соседствовавшая с туалетом, была грязной до невозможности, при этом на стенах висело множество порнографических фотографий, собранных, вероятно, в течение нескольких десятилетий. В двух комнатах царил полумрак – свет почти не пробивался сквозь давно не мытые окна. А главное – по всей квартире был разлит удушающий смрад, вызванный невероятной сыростью. Обоев на стенах давно не было, от них остались лишь зеленоватые разводы. Повсюду были навалены отсыревшие книги, рисунки, листы печатной графики, доставшиеся от дяди. И картонки, холстики – работы уже самого Давида. Так как единственный круглый стол был полностью завален книгами, рисовал Давид у окна на узком подоконнике – днем туда едва пробивался скупой свет. Единственной свисавшей с потолка голый лампочки ему было явно недостаточно.

– Впечатляет. Но ты же любишь такое, – покачивая носком начищенной туфли, насмешливо сказал Семен.

– Сема, не придуривайся. Вспомни, где ты вырос.

– Дядя Семен, пожалуйста, позвольте папе рассказать. Второго шанса услышать эту историю может не быть, – сказал Ляня.

– Хорошо. Молчу.

– При этом любой, кто брал в руки его работы, сразу понимал, что имеет дело с талантом. Энергия просто была с этих отсыревших картонов. Естественно, ни в каких выставках Давид не участвовал. Естественно, он о них мечтал. Он рассказывал о том, что иногда выставлял свои работы дома на полу вдоль стены, и ясными ночами их освещала луна. Он называл это лунным вернисажем.

Открыли его совершенно случайно. Ангел явился ему в виде Алены, спивающейся торговки со Староконного рынка. В тот день она случайно оказалась в Городском саду, где художники иногда продавали свои работы. Начался дождь, и ничего, как обычно, не продавший Давид уныло поплелся восвояси. Одна из работ выпала из папки прямо в лужу, но он этого не заметил. Алена где-то слышала о том, что искусство – это ценность, и на живописи можно заработать. Она подняла картонку, догнала Давида и предложила ее купить. Тот был поражен до глубины души. С тех пор она стала ходить к нему домой, покупать за гроши живопись и рисунки и продавать их с небольшой (ей она, наверное, казалась огромной) наценкой.

У моего приятеля Славика был на Староконном свой человек, «бегунок» по имени Саша, который выискивал там спрятанные сокровища. Одесса, конечно, не Вена, но все же и там никто никогда не знал, какой шедевр могут вынести на продажу родственники умершего художника или новые владельцы расселяемых коммунальных квартир, в которых десятилетиями накапливались кем-то когда-то любимые вещи. Произошло неизбежное – Саша увидел Алену и работы Тихолуза, которые она раскладывала на старой клеенке, расстеленной прямо на асфальте. Работы эти произвели на издавшего виды Сашу такое впечатление, что он в невероятном возбуждении позвонил Славика и сказал, что тот должен увидеть все сам. Славик увидел, остолбенел и купил все, что было у Алены в тот раз.





Семен, а следом за ним и все присутствующие в комнате, за исключением лежавшего в коляске правнука, невольно посмотрели на стены. С многочисленных картонов и холстиков на них смотрели изображенные в невероятных эксцентричных позах обнаженные женщины, фигуристки и гимнастки, фантастически грудастые снежные бабы с ярко-красными сосками, ярко-красные же сочащиеся арбузы, штормовое море, двухэтажные дома Молдаванки, портреты стариков и множество автопортретов.

– Да уж, экспрессионист чистой воды. Это не Коровенко. Но и не Сутин, конечно, – произнес Семен.

– Ты даже знаешь фамилию Коровенко? – спросил с иронией Соломон.

– Да так, изредка интересуюсь на досуге.

– Да, это не бесконечная серия портретов дворян в костюмах восемнадцатого века, которые годами создавал прятавшийся от публики Василий Коровенко. И не радостная, наивная в лучшем смысле слова живопись Евгении Ганичевой, писавшей на обороте своих работ фразу «Спешите делать добро». В лучших своих образцах живопись Тихолуза полна экспрессии и животной страсти. И да, это не Сутин. Но Сутин, Сема, не был сумасшедшим. Во всей истории с Тихолузом есть одна вещь, которую я ценю больше всего.

– Какая же?

– Скажу позже.

– Ладно. Так что там было дальше?

– Работы Тихолуза заметил не только Славик. Их начали покупать коллекционеры и перекупщики. Слухи о нем дошли и до директора музея современного искусства. Тот приехал к нему домой и был потрясен до глубины души всем – и условиями жизни, и талантом художника. Он предложил Тихолузу бесплатно снабжать его красками и холстами и обещал выкупать все, что тот нарисует. Так в квартире Давида появился первый мольберт. Попал к нему домой и Славик, просто вынудивший своего «бегунка» дать ему адрес. Впечатление, то есть потрясение, было таким же. Получив первые деньги, Давид тут же обзавелся подругой. Когда я пришел к нему впервые, она голой по пояс лежала на грязном матрасе, постеленном прямо на полу, и читала книгу, не обращая на меня ни малейшего внимания. Давид сказал тогда, что зовут

ее Ольга, по образованию она филолог и обожает Мандельштама. Сам он часто принимал гостей в плавках. Но ты же знаешь – тех, кто часто общается с художниками, трудно удивить.

Соломон сделал паузу и *вновь* с улыбкой посмотрел на брата:

– Хотя... Тех, кто общается с живыми художниками. Ты этого не любишь.

– Соломон, это уже слишком, – в голосе Киры зазвучала обида.

– Тетя Кира, не обращайтесь внимания, – сказал Мила. – Папа, так что было дальше?

– В пятьдесят четыре года на Давида обрушилась слава. К славе вообще мало кто готов, а уж тем более человек такой душевной организации. Две его персональных выставки одна за другой открылись в декабре 2008-го во Всемирном клубе одесситов и в Музее западного и восточного искусства. Первые в жизни выставки. Обе организовал Славик, купивший к тому моменту добрую сотню его работ. Перед открытием он волновался, не понимая, как Давид будет себя вести. На удивление, тот чувствовал себя совершенно уверенно, рассказывая на телекамеры об учебе в художественном училище и своих художественных предпочтениях. Видно было, что он ошеломлен свалившимся на него счастьем. Славик рассказывал, что, когда Давид догадался о том, что именно он устроил эти выставки, то долго благодарил, говорил, что никогда не представлял, что его картины могут висеть в музее, да еще и в таких рамках. Для одесской публики Тихолуз стал совершенным открытием. Поражало все, но в первую очередь контраст между силой живописи и образом художника – его детскостью и наивностью. Каждая работа была подписана по нескольку раз, снаружи и на обороте. Детским почерком, крупными буквами. Чаще всего так: «Давид Тихолуз. Одессит, художник, еврей». Но часто можно было увидеть и более подробные подписи. Например вот.

Соломон поднялся, снял со стены небольшой портрет, перевернул его и начал читать: «Портрет моей тети Хавуси. Это портрет моей родной любимой тети Хавы Кисилевны Оксман, сестры моей матери и большой любительницы кошек, очень способной и умной женщины, рассказывавшей мне маленькому сказки «Про мыша». Автор «Портрета старушки» – Давид Наумович Тихолуз. Одесса, 1975 год».

– Или вот.

Соломон взял в руки небольшой пейзаж. Одесские крыши, кроны деревьев. Серое, серебряное, зеленое.

– Он называется «От души – душе». Послушайте:

«Писал пейзаж Давид Наумович Тихолуз в 17 лет в Одессе, в переулке Сеченова (бывшем Рождественском, номер девять, квартира шестнадцать).

Подписал Давид Тихолуз в двадцать шесть с половиной лет, год рождения тысяча девятьсот пятьдесят четвертый, одиннадцатого декабря.

Этот пейзаж призван. Теперь, когда после девяти лет лежания за шкафом, как безумный пейзаж, теперь, когда в двадцать шесть с половиной лет отроду я вновь вешаю его на стену, он призван напомнить мне, что тогда, в семнадцать лет, я был хорошим человеком! И не таким, как теперь.

В этом пейзаже заключено все мое тогдашнее мировоззрение и мироощущение. Вся моя душа в то время, когда я был очень молод и глуп.

Пейзаж написан с маленького искреннего этюдника художником-живописцем и колористом. Искренно!»

– Да уж, впечатляет, – вырвалось у Ильи.

– Сочетание несочетаемого всегда поражало в нем тех, кто с ним общался, а особенно видел впервые. В 2009-м мы записывали с Давидом интервью. Для записи пригласили его в кафе. Он говорил умные парадоксальные вещи, при этом жадно, причмокивая, поедая сэндвич. Он рассказывал о том, что уже в училище его стали называть экспрессионистом, говорили даже, что у него лицо экспрессиониста, и он с этим соглашался. Говорил о том, что главное для него в живописи – колористика. Цитировал Ван Гога, Джерома Клапку Джерома, Лермонтова, читал наизусть Мандельштама. Говорил еще о том, что был одно время увлечен поисками синего цвета, как Матисс. Оказалось, что в детстве его возили в Москву, в Пушкинский музей и Третьяковку, и он ярко это помнит. А современных выставок, естественно, не видел, ездить никуда не может, никаких планов не строит. Да что я, собственно...

Соломон поднялся, достал с одной из полок тонкий том со странным названием «Смутная алчба», перелистал страницы.

– Вот, послушайте. Концовка нашего интервью поразила меня тогда больше всего:

«– Многие люди строят для себя планы на следующий год. На 2010 год какие-то планы у вас есть?»

– Я читал Дарью Донцову, как тетка спрашивает свою племянницу, совершенную недотепу-ученицу, которая никак не могла учиться и страшно всех этим раздражала. Она ее куда-то собиралась отдать замуж. И спрашивает ее эта тетка: «Есть ли у тебя какие-то планы на будущее, девочка?». Ну она и ответила: «Колготки достирать, телек поглядеть!».

Вот и у меня – планы работать. Создавать красоту. Я хочу сказать, что мне нравится в искусстве красивое, и не просто красивое, а та красота в природе, которая способна сделать человека лучше хотя бы на короткое время. Мне кажется, искусство должно пробуждать доброе. Хотя художники в основном это делают, слава Богу. У них этого не отнимешь. Но у каждого есть что-то, что ему лучше отвечает. Как говорил Бальмонт: «Я в мир пришел, чтоб видеть солнце». Мне кажется, что он сильно это сказал, но мне солнце всегда очень нравилось. Египтяне, ацтеки, – все они уважали солнце. Даже обычай печь блины в России тоже был связан с древним обрядом поедания солнца. Ну в России всегда свой менталитет. Там солнце старались съесть. А я, как говорится, типичная жертва искусства. Так как говорят, что искусство требует жертв, так вот, перед вами типичная жертва искусства. Но все же я сторонник того, чтобы на жизнь иметь светлый взгляд, веселый и по возможности добрый. Для этого надо наслаждаться красотой природы и попытаться куда-то выйти за пределы города.

Я не какой-то там страшно верующий. Я просто скорее, может быть, атеист. Но дело в том, что я так люблю изучать всякие старинные тексты, что только теперь на старости лет я прочел некоторые такие из давно известных книг типа Евангелия, Библии, еврейских молитв. На досуге это тоже развлечение. Как-то неудобно абсолютно ничегошеньки не знать о том, во что верил твой народ или другие народы. Ведь это даже создавало культуру. Сколько художников Средневековья кормилось только благодаря изображению Девы Марии! Только ленивый и глупый не написал Мадонну. Это же было то же самое, что Ленин для скульпторов.

Ленина один скульптор гладил по лысине и чуть ли не со слезами благодарил: «Кормилец ты наш...». Может, так же Мадонна или Христос. Ведь это же скольких художников он кормил и поил! То же Распятие. Бедного еврея распяли в 33 года, и вот сколько столетий он кормил и поил художников! Я плачу: где мои 33 года по глупости? 33 года – это роковой возраст. Я же говорил, что я жертва. Но даже не искусства, а жизни. А искусство эту жизнь как-то освещает. Если что-то и может осветить нашу жизнь, то это, наверное, солнце и искусство».

Соломон замолчал и закрыл книгу.

Молчали и все вокруг.

Наконец Семен произнес:

– Мощно.

– Да, мощно. И почти все это время Давид жевал свой сэндвич, а в конце завернул не съеденные корки в салфетку. Когда я предложил просто заказать еще один, он ответил:

– Не нужно. У меня практически нет зубов, так что эти корочки я буду дома размачивать в теплой воде и потихоньку жевать.

– Боже... – вырвалось у Милы.

– А что было дальше? – спросил Семен.

– Эти две выставки оказались первыми и последними в его жизни. Неожиданная, пусть весьма скромная слава и вдруг появившиеся деньги сыграли с Давидом злую шутку. Работы больших форматов, которые он пытался делать на заказ, в большинстве своем были слабыми. Он сам признавался, что давно отвык писать на больших холстах. Работы были неровными, все чаще и чаще слабыми. Тем не менее он не забывал регулярно просить за них деньги в музее, иногда даже приезжая туда на такси – неслыханная прежде роскошь, и даже подшофе. После одного из таких визитов в дальнейшем сотрудничестве ему отказали. Внезапно возникшую известность, как вы знаете, следует тщательно поддерживать, но Давид, конечно, не был на это способен. Первые восторги прошли, и очень скоро о нем опять забыли. Работами его интересовались лишь немногие одесские коллекционеры. Более того, их начали подделывать – благо это было несложно, что еще больше ударило по его только-только наметившемуся относительно достатку. Весьма и весьма относительному.

– Даже так? Подделывать? – удивленно спросил Семен.

– По крайней мере об этом ходили упорные слухи. И он вернулся в то состояние, в котором пребывал всегда – в состоянии одиночества. Одинокий, наивный, беспомощный, честный романтик.

Когда Давид говорил о том, что не строит особых планов на 2010-й год, он словно предчувствовал свою кончину. Солнечным декабрьским днем он шел по Екатерининской улице, внезапно пошатнулся, лег под дерево и умер.

Для тех, кто его не знал, в свои пятьдесят пять он выглядел дико – бедно одетый человек не от мира сего со стершимися зубами, одутловатым лицом и крашенными в белый цвет волосами. И если даже сбитого трамваем Гауди в родной Барселоне узнали не сразу, то никому почти не известного художника Тихолуза в Одессе могли не узнать никогда. Родственников у него не было, денег тоже. Но Давиду повезло – он был евреем. В кармане лежала единственная бумага из «Хеседа», она-то его и спасла. В дело включился реб Велвл Верховский, и в полном соответствии с еврейскими традициями на следующий день Давида похоронили на еврейском кладбище. Святое братство, «Хевра кадиша» взяло на себя расходы, как обычно это бывает при похоронах одиноких или бедных евреев.

О его смерти узнали не сразу. Когда узнали, несколько коллекционеров пытались получить в полиции разрешение на доступ в его квартиру, понимая, что все, что там находится, безвозвратно пропадет. Из этого ничего не вышло. Что стало с наследием Давида, никто не знает.

Через год после его смерти в Клубе одесситов прошла выставка его памяти – на ней были работы из частных коллекций.

После этого о нем забыли окончательно.

– То есть у него было всего два года счастливой жизни? Ну относительно счастливой? – спросила Мила.

– В том то и дело, что нет. Я думаю, что вся его жизнь была счастливой.

– Странное утверждение, – пробурчал Семен.

– Я объясню. Я ведь сначала думал точно так же, как и вы. Но потом, живя рядом с этим работами, – он окинул взглядом стены, – полностью пересмотрел свои взгляды.

В его жизни было то, что всегда вытягивало его из пучины безумия, из одиночества, из отчаяния. Это была живопись. Он ведь беседовал со своими картинами. Все эти записи на обороте – фрагменты этих бесед.

И еще две вещи – удивление перед красотой мира и страсть.

Страсть, которую он выражал с помощью своей живописи, давала ему смысл жить, давала энергию выживания. Это было даже не сублимацией сексуальной энергии, а прямым ее применением.

– Папа, осторожно, нас слушают дети, – тихо сказала Мила.

– Пусть слушают. Они ведь и появились на свет благодаря этой энергии. А удивление и восхищение миром были частью его мировоззрения – мировоззрения большого ребенка, наивного философа, блаженного человека.

Все замолчали.

– Шломо, ты меня не убедишь. Я все равно буду продавать скучные пейзажи своих скучных австрийцев. На них по крайней мере есть платежеспособный спрос.

– Да, но ведь живопись тем и прекрасна, что имеет кроме денежного выражения что-то гораздо большее, Сема. И ты сам прекрасно это знаешь. Иначе не проводил бы дни и ночи в поисках не замеченных другими шедевров. Ты же сам говорил, что влюбляешься в каждую новую купленную тобой работу.

– Я влюбляюсь в нее до того, как куплю.

– Я до сих пор поражаюсь, как ты умудряешься жить за счет своего бизнеса, если покупаешь больше, чем продаешь.

– То же самое я думаю и о тебе, – улыбнулся Семен.

– Ну что же, пойдете пить шампанское, пока это позволяют наши финансовые возможности! – воскликнула со смехом Роза.

Соломон обнял брата, и они пошли в зал.

